

ВЫПУСК

438-й

Художник с обостренным чувством времени, верный традициям психологического театра, тонкий интерпретатор прозы. Его спектакли имели триумфальный успех на гастролях в Англии, Канаде, Франции, ФРГ, США.

Главный режиссер ленинградского Малого драматического театра, лауреат Государственной премии СССР, первый советский постановщик, удостоенный британской премии имени Лоренса Оливье, заслуженный деятель искусств РСФСР
Лев Абрамович ДОДИН — сегодня гость нашей 13-й страницы.

— Может быть, начнем с истоков? В какой среде вы росли, что сформировало вашу личность?

— На подобный вопрос сразу хочется отвечать пышно: «Рос в среде, ну, скажем, дворянско-помещичьей или мелкобуржуазной...» А если серьезно — в советской среде, буквально в центре Ленинграда. Конец сороковых — начало пятидесятых годов. Огромная коммунальная квартира, семей на двадцать. Там были представители всех слоев, разных укладов; устраивали угощения пирогами всей квартире, а то вдруг дрались с ошпариванием кипятком. Потом тут же снова начинали горячо говорить о добрососедстве, даже о любви... Такой вот сгусток общественных и личностных страстей, когда нельзя было сказать, кто «хороший», а кто «плохой». Сама трудность такого определения что-то зародила в моей душе, потому что нет ничего страшнее легкости определения: «свой» — «не свой».

Мама — врач-педиатр, работает и сейчас, оставаясь истовым медиком. Помню, она, возвращаясь с ночного дежурства на «скорой помощи», сразу начинала обзванивать пациентов, у которых только что была. Отец — геолог, тоже истовый, готовый в любой миг махнуть из Ленинграда в Восточную Сибирь; иногда брал с собой и меня, мальчишку, а потом я и сам пристратился к экспедициям — уже участвую в геологическом, все еще не мог расстаться с тягой к геологии, к дорогам. И до сих пор сохранилась эта страсть к российским просторам, к постижению всего, что происходит в бескрайнем родном нашем пространстве.

В семье царил бесконечное уважение к книге. Я не читал в детстве Библию, но когда прочел, обнаружил, что как бы многое в ней знакомо, потому что в хорошей литературе было очень много от библейских нравственных категорий...

— Хочется коснуться времени ваших скитаний по театрам. БДТ, Малый драматический (когда им руководил Ефим Падве), театр на Литейном... Что дал вам опыт тех лет? В какой мере он пригодился, когда вы сами возглавили театр?

— При том, что были очень тяжелые годы, особенно десять лет «свободного плавания», когда я не знал, что со мной будет завтра и где доставать средства на жизнь, — все равно вспоминаю это время с нежностью. Непредвиденность в жизни прекрасна, заставляет свежо смотреть на вещи, будоражит кровь. Жизнь должна идти в соревновании человека с самим собой, с обстоятельствами, хотя это, бывает, выматывает, перекрывает всякие границы. Поставил я спектакль в одном театре — хорошо прошла премьера, стало ясно, что я буду репетировать здесь следующий спектакль. Отдыхая, бродил по Комарову и думал: что ж, теперь навсегда в этом театре? Жизнь определилась? А наутро звонит главный режиссер: его вызвали в обком партии и рекомендовали снять из репертуара мой спектакль, который слишком мрачен, декорации состоят из заборов, и поэтому можно понять так, будто у нас люди живут в загоне. Не рекомендовали и предоставляли мне следующую постановку... Вот так. Сразу стало свежо, стало ясно, что «покой нам только снится», что застоя в крови не будет.

Потому каждый спектакль я ставил, как последний. И в самом деле не знал, удастся ли сделать следующий. Сейчас, в своем театре, пытаюсь не потерять это ощущение.

— На ваших спектаклях, будь то «Братья и сестры», с которых начался «Малый драматический Додина», или не менее знаменитая сегодня постановка «Звезд на утреннем небе», — я каждый раз поражаюсь максимальной внутренней самоотдачей актеров, их колоссальным духовным потенциалом. У вас не бывает незаметных ролей. В любом эпизоде актер как бы укрепощает свою до поры скованную душу...

— Так и в жизни не бывает эпизодических людей. Не могу про себя сказать, что я пошел на набережную и принял участие в «массовой сцене» или что на Съезде народных депутатов происходило «массовое действие». В жизни каждый человек играет главную роль — по крайней мере, для себя. Значит, если мы хотим что-то про него узнать, то должны стать на его место и понять его изнутри, с точки зрения той главной роли, которую он играет в мироздании. Когда человек уходит из жизни, то с ним уходит — для него — и весь мир. Значит, этот мир и от него зависел. Что это был за мир?.. Жизнь как жизнь и жизнь в театре — для меня один и тот же процесс.

— И как же вы добиваетесь актерского единения на сцене?

— Репетиция и вообще все, связанное с рождением спектакля, — главное в нашей с актерами жизни. Этим измеряется и степень духовного и творческого напряжения. Я убежден, что каждый актер всесилен, у него есть еще миллионы невосребованных возможностей, которые (в силу земного тяготения каждого человека, что ли) осели в глубине души и не хотят подниматься на поверхность. Нужны немалые усилия, чтобы их обнаружить. Поэтому репетиция в нашем театре — процесс отчаянный. Для меня — и отчаянно интересный. Репетируя, человек должен верить, что от этого в его жизни что-то изменится. Это как молитва. Человек молится с верой. Вера его выше всего, серьезнее всего. Да, мы знаем: миллионы молитв ни к чему не приводят, но вера все-таки остается и все-таки спасает.

— Известно, что, репетируя спектакль, вы много путешествуете с актерами, чтобы изучить места, проникнуться духом обстановки, свыкнуться с бытом...

— Во время таких странствий происходит вещи чрезвычайно важные. Дело не только в новых впечатлениях. При столкновении с новыми людьми, новой обстановкой выясняется, что эту жизнь каждый из нас знал раньше. Но, находясь в плену регулярной «бытовой» жизни, человек забывает эту свою способность — обращаться к личному опыту, вспоминать... Стараясь много читать. Сейчас, репетируя «Бесов», вывели за кулисами список более двухсот произведений, которые каждый из нас должен прочесть: это литература о времени, в котором жил Достоевский, это названия, которые упоминаются его героями. Собираемся съездить в Печору, в стародавние святые места...

— Так можно работать над одним спектаклем бесконечно...

— В последнее время самый ненавистный для меня период — выпуск спектакля «на зрителя». Потому что, когда ду-

маешь о серьезном, приходят новые идеи и решения, а выпуск — это всегда прерывание естественного процесса. Правда, когда начинаем играть спектакль, он обрывается новым опытом, новыми впечатлениями. Скажем, оказались мы в Париже с «Братьями и сестрами», и впервые актеры увидели изобилие, это проклятое буржуазное изобилие. Они испытали резкое чувство оскорбленности, что, мне кажется, сразу подогрело спектакль на много градусов! Потому что до этой поездки они играли про то, как прежние поколения были лишены прав и

ет» — может быть, самое правильное самочувствие; все познается в процессе работы... Всегда, как маньяк небесной, жду отпуска, чтобы спокойно подумать, чем заняться дальше. Отпуск — пожалуй, единственный момент, когда можно всерьез заняться делом. Дело наше замешано на созерцании, на покое, которого катастрофически не хватает!

— В ваших спектаклях острые драматические и трагические ситуации сопрягаются со светлым, оптимистичным ощущением жизни — после мрачных, тягостных минут наступает катар-

де человека заложено страшное, заложена тяга к уничтожению себе подобных, самого себя. Мы боремся с войной и забываем при этом, что людям извечно почему-то нравится воевать... Может быть, война — самый легкий способ ухода от себя, от решения и внешних, и внутренних проблем?

Тем не менее, если наше плохое осознается нами как плохое, скажем, как искажение божественного замысла, который породил человека, тогда это как-то обнадеживает, тогда это серьезный взгляд на вещи. В иных случаях либо мы говорим, что все в порядке и человек создан для счастья, как птица для полета, и тем самым убавляем его, либо просто тубим с плеча, мол, человек — мерзавец, туда ему и дорога. Тем самым утверждаем свое презрение к нему, а заодно и к себе, и освобождаем себя для вседозволенности, потому что если сосед — мерзавец, то и я имею полное право быть мерзавцем.

— Сняты запреты, которые десятилетиями связывали режиссеров. Но в ваших постановках многое появилось задолго до официальных «разрешений» — я имею в виду остроту тем, диапазон сценических средств: от резкости мизансцен до появления обнаженного тела, от грубости языка до сильных христианских мотивов. Как в связи с этим уберечь театр от новой, так сказать, «конъюнктуры», от спекуляции на возможностях, предоставляемых временем?

— Думаю, театр, как и отдельного человека, ни от чего уберечь нельзя. Как нельзя было раньше уберечься от спекуляций на положительном герое, так и сегодня возникла коммерциализация, «клубничка», спекуляция на щекощущих моментах. Правда, иногда то, что нами воспринимается как спекуляция, — есть просто следствие недостаточной даровитости, недостаточного вкуса, неточно выраженных намерений. Так, часто мы выносим обвинительный приговор тому, что сделано неумейственно. Свободе, точнее только-только начавшемуся процессу расщепления творчества, сопутствуют всяческие новации. Беда нашего представления о действительности в том, что рассуждение рассматривается как снятие любых проблем. Наша история во многом была своеобразной попыткой уничтожить проблемы, а «лучший» для этого способ — уничтожать людей. Чем больше мы будем утверждать ценность одной-единственной человеческой жизни, тем больше будет возникать проблем, потому что любой человек сам по себе уже проблема.

Каждый пользуется свободой, как умеет. Надо как можно естественнее жить и дышать. С дыханием вырывается углекислый газ, но это же не означает, что нужно запрещать дыхание, дабы уменьшить количество углекислого газа!

Если расщепление будет продолжаться, будут усложняться и наши представления о мире, умножаться количество хорошего и плохого. Бояться не надо ничего, кроме неуважения к человеку, кроме жестокости, злобы! Все остальное приходит и уходит.

Опять возвращаюсь к одному и тому же: жизнь не упрощается оттого, что она расщепляется, — она усложняется. Сложная жизнь и есть, собственно, настоящая живая жизнь. А если мы будем все время искать возможности, как отсечь «это», как отсечь «то», как, наконец, добиться окончательной и единственной истины, то может утвердиться некая новая «истинность», которая возьмет да и отсечет очередное количество миллионов жизней. Не дай-то бог!

Гостя расспросил
Вадим ВЕРНИК.

Фотографировал
Валерий Петербургский.



ЛЕВ ДОДИН

достоинства; а тут стали играть про то, как они оскорблены и обкраданы. Но свежее жизненное впечатление ничуть не поколебало их гражданские чувства. Напротив, оскорбление тем, что происходит с твоим Отечеством и с тобою в нем, и есть одно из высочайших гражданских чувств.

— А как вы мыслите театральную работу вне репетиций? Возможно ли воздействие на аудиторию не через сцену?

— Выговориться — одна из самых больших опасностей для того, кто пытается заниматься искусством. Политика предполагает знание: что есть ситуация, каков выход из ситуации. Искусство предполагает незнание и потому постижение. Если режиссер становится политиком и как политик говорит: «Я знаю», то он и как режиссер может начать утверждать: «Я знаю», и тогда горе ему, режиссеру... Каждому — свое. Начинает развиваться политическая жизнь, и дай бог, чтобы это развитие не остановилось, а общество при том будет все больше заинтересовано в глубоком душевном анализе, которым и должен заниматься театр.

— Ну, а как же тогда руководство театром? Тоже своего рода «политика».

— Опять огромная проблема. Театром нельзя заниматься, пребывая в самочувствии руководителя. Самое нелюбимое для меня место — кабинет. В то же время, если не пытаешься хоть как-то руководить, театр разваливается. Как это преодолеть — черт его знает! А для режиссера это «черт его зна-

сис, очищение. Таково ваше творческое кредо?

— В самом вопросе уже есть определенный ответ. Катарсис — результат попытки глубинного взгляда на вещи, глубинного анализа жизни, которая в сущности сама по себе трагична. Человек смертен, и это первое трагическое начало жизни, та фатальная ноша, которую он несет, едва появившись на свет. Человек грешен, противоречив, хочет одного, а совершает другое. И еще сотни диаметральных противоположений, диктуемых самой природой человека. Искусство призвано думать обо всем этом. Оно родилось в желании познать себя — во взаимоотношениях с миром, со своей собственной природой.

Об этом мы мало задумывались в течение многих лет. Принято было считать, что трагического начала в нашей жизни — именно в нашей — нет и вообще быть не может. Но весь ужас в том, что если нет трагического начала, нет и катарсиса. Ложный, фальшивый оптимизм разрушает нравственность. Лишившись права размышлять, откуда приходит человек, зачем явился на свет, куда и почему уходит, мы оказались ничтожными физическими телами, бессмысленно брошенными в космическое пространство, стали убивать, уничтожать миллионы таких же физических тел. Думаю, это главная катастрофа, которая случилась с нами и с нашим обществом.

Я вообще довольно мрачно смотрю на жизнь, на вещи и на самого себя. Убежден в приро-